

сергей дигол

СТАРОСТЬ ШАКАЛА
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЭТ

повести



Сергей Дигол

**Старость шакала.
Посвящается Пэт**

«Издательские решения»

2014

Дигол С.

Старость шакала. Посвящается Пэт / С. Дигол — «Издательские решения», 2014

«Старость шакала» – повесть, впервые опубликованная в литературном журнале «Волга». Герой повести, пожилой «щипач», выходит из тюрьмы на переломе эпох, когда прежний мир (и воровской в том числе) рухнул, а новый мир жесток и чужд даже для карманного вора. В повести «Посвящается Пэт», вошедшей в лонг-листы двух престижных литературных премий – «Национального бестселлера» и «Русской премии», прослеживается простая и в то же время беспощадная мысль о том, что этот мир – не место для размеренной и предсказуемой жизни. Даже если ты живешь в самой консервативной стране мира, в Старой Доброй Англии. В Англии, которая давно – не Страна чудес, а сама ты – не кэрролловская Алиса, а самая обычная девушка из провинции, которая только что потеряла родителей и которой мир с одинаковой легкостью дарит уникальный шанс и отнимает последнюю надежду.

© Дигол С., 2014

© Издательские решения, 2014

Содержание

Старость шакала	6
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Старость шакала. Посвящается Пэт

Сергей Дигол

© Сергей Дигол, 2014

© Сергей Дигол, обложка, 2014

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Старость шакала

Повесть

– Ооу!

Екатерина Андреевна Соколова покраснела и стыдливо, как смущенная собственным смехом восьмиклассница, прикрыла рот ладонью. Соколовой сразу вспомнился Михаил Иосифович Шифман, бывший главврач третьей кишиневской поликлиники, в которой она, пульмонолог высшей категории, добивала последний год перед пенсией. Душевным человеком был Михал Иосич, несмотря ни на что, царствие ему небесное, или что там у евреев после смерти.

Восемнадцатого января семьдесят седьмого года (дату она запомнила на всю жизнь) Екатерина Андреевна засиделась на работе дольше обычного – «горел» годовой отчет. Коридор остывал после нашествия пациентов, непривычно-настораживающую тишину разбавляли лишь гулкие шаги сторожа, скучавшего в вестибюле первого этажа. Внезапно загремел телефон, и, встрепенувшись, – «господи!» – Соколова почувствовала в горле пульсирующую боль, что всегда случалось при сильном испуге.

– Екатерина Андреевна, зайдите на пару минут, – загудела трубка баритоном Михал Иосича, – и отчет с собой прихватите.

Прижимая к груди пухлую папку, Екатерина Андреевна нервно засемила в противоположный конец коридора – туда, где за лакированной дверью скрывалась тесная комната, формально – приемная главврача, на самом деле – предпыточная. Во всяком случае, так называли помещение все медработники, кроме, естественно, самого Михал Иосича.

Бумаги на столе секретарши, принятой на работу редкостной растеряхой, аккуратно возвышались двумя одинаковыми стопками – заслуга требовательного шефа, умевшего, чего скрывать, создать атмосферу, в которой любая запорхнувшая в коллектив белая ворона быстро чернела от внезапных, как ураган, проверок, строгих выговоров с занесением и самого высокого, среди всех медучреждений Кишинева, процента увольнений по статье, и уж тем более по собственному желанию. Себя Михал Иосич тоже не щадил: лампочка в его кабинете перегорала чаще, чем у других, но даже осознание феноменальной работоспособности шефа не приносило сотрудникам желаемого облегчения.

Собственные испытания работой Екатерина Андреевна переносила без видимых усилий. Нельзя сказать, что ей приходилось легче, скорее наоборот: с заведующего отделением всегда особый спрос. Утешало ее одно – бескорыстная любовь к главврачу, не обращавшего, однако, никакого внимания на излишне томные и долгие, даже для подхалимажа, взгляды Соколовой на планерках, случайные прикосновения при уточнении графика дежурств и даже особую интонацию голоса – безотказное, как ей самой казалось, оружие, применявшееся Екатериной Андреевной в особых случаях – когда выпадало счастье остаться наедине с шефом в его кабинете. Проще было плюнуть на толстокожего зануду – служебный роман пройдет, а презрение коллег останется – но каждый раз, оказываясь в приемной, пульмонолог инстинктивно выпрямляла спину, распаялая в глазах никак не хотевший гаснуть огонь.

– Войдите! – услышала она в ответ на свой стук. От голоса Михал Иосича на теле Соколовой всегда радостно суетились мурашки, но в тот раз даже у них вышло чересчур резво.

Переступив порог начальственного кабинета, Екатерина Андреевна уронила папку и упала – хорошо, что на дверь, вовремя оказавшуюся за спиной. Перед ней стояло огромное и совершенно голое мужское тело – «снежный человек!», взвизгнул кто-то в голове Соколовой, причем без ее ведома. И хотя от удара о дверь из головы что-то словно высыпалось на пол, пульмонолог не то что сообразила, а скорее ощутила умом, что мысль о снежном человеке как-

то связана с запахом хвои, в котором Екатерина Андреевна безошибочно распознала аромат одеколona «Шипр».

– Ооу! – пропела Екатерина Андреевна и, уже теряя сознание, успела почувствовать щекой ворсистую грудь Михал Иосича.

Воспоминание о первой измене мужу всегда сладостно волновало Соколову. Но сегодняшнее волнение изрядно горчило. Стараясь не смотреть на свое отражение, мелькавшее за спиной пациента, Екатерина Андреевна и без зеркала знала, что краснота на ее лице становится пунцовой, и причиной тому – стыд и досада. Бог с ним, с Михал Иосичем, с кем не бывало по молодости? Да и срок давности – есть ли такой у супружеской неверности? – давно уж, наверное, вышел. Досадовала же Екатерина Андреевна потому, что была профессионалом, которые, в отличие от дилетантов, не ищут повода для угрызений совести – угрызения приходят к ним сами и без приглашения.

Застонать при виде полураздетого пациента? Да простительно ли такое врачу с ее стажем? Обычно Екатерина Андреевна обращала на обнаженное тело столько же внимания, сколько электрик – на предупреждение «не влезай – убьют» на двери трансформаторной будки. Как и для электрика, оболочка не представляла для Екатерины Андреевны никакой ценности, в отличие от внутреннего устройства. А среди всех внутренностей внимание Соколовой, что естественно для пульмонолога, привлекали легкие.

Но промах был допущен, и даже без удивленного взгляда пациента Екатерина Андреевна знала, что требуется, так сказать, пояснение.

– Какие они у вас, – пробормотала Соколова, не в силах оторвать взгляд от тела мужчины.

Ей и в самом деле никогда не приходилось видеть на чьей-либо груди огромный крест, с тrefообразными узорами на концах, сделанный – нет, не из золота, а прямо на коже пациента. Как, впрочем, и все остальные татуировки, занимавшие всю грудь и верх живота мужчины. Слева от креста (со стороны пациента – справа) рябил частокол, и тоже из крестов, от маленьких до едва различимых, в зависимости от размеров куполов, на которые эти кресты опирались. С левой груди надменно взирала совершенно обнаженная женщина, загадочным образом сохранявшая равновесие, стоя на занимавшем полживота колесе с двумя выраставшими из него крыльями. Примерно такие же Екатерина Андреевна видела на спинах актеров, сыгравших сосланных на землю ангелов в одном кровавом американском фильме, который постоянно крутили по кабельному телевидению.

– Красивые, – добавила Соколова. Испугавшись, что ее предыдущие слова не были поняты правильно, она тяжело задышала, охваченная новым приступом стыда.

– Дышите, – сдерживая гнев, выдавила Екатерина Андреевна и прислонила мембрану стетоскопа к вульгарного бюсту женщины на колесе. Нарисованные груди закачались в такт добросовестному дыханию пациента, и Соколова вдруг поняла, что это тело, этот торс пожилого мужчины со слегка расплывшимися татуировками и редкой сединой на груди, вызывает в ней противоположные чувства – раздражение и, как оказалось, не навсегда забытое возбуждение.

– Глубже дышите, – ненавидя себя, прошипела Екатерина Андреевна и, не удержавшись, бросила взгляд в глаза пациенту.

Мужчина, словно почувствовав смущение доктора, отвернулся, насколько позволяла шея, покорно и шумно втягивая и выдыхая воздух.

Вдох.

«Что же ты, тетка, пялишься?... Наколок не видела?...»

Выдох.

«Старый козел, думает... Плевать!... Не милостыню пришел просить...»

Вдох.

«Заплатил же всем... Поликлиника, мать ее... С пенсионерами как с собаками...»

Выдох.

«Нет, все-таки при Союзе...»

– А теперь спиной! – рывкнула Екатерина Андреевна и, схватив пациента за плечи, развернула его лицом к зеркалу.

Вдох.

«Слава богу, хоть на спине нет!... На семьдесят пять он не выглядит... Но татуировки, фу, мерзость!...»

Выдох.

«Ой, да он же... Мамочка!... Точно, бандит!... Вот ужас-то...»

Вдох.

«А мой что, лучше?... Проклятый insult... Толку что моложе...»

Выдох.

«Сколько это уже?... Сколько он прикован к постели?..»

Вдох.

«Три? Господи, три года уже... А этот смотри-ка!.. Подтянутый, с деньгами... Откуда, кстати... Стоп, а это что?..»

– Сидели? – спросила вдруг Екатерина Андреевна.

Развернувшись, старик-пациент смотрел на нее сверху вниз, причем не только из-за разницы в росте, из-за которой Екатерину Андреевну, все еще за глаза, но вот уже лет двадцать как, все, даже санитарки, называли Шпингалетиной. Пациент тяжело дышал, хотя в этом не было необходимости: докторша уже вынула из ушей наушники стетоскопа.

Ну что с такой сделать? Послать? Это никогда не поздно, вот только кроме как на врачей, которых старик презирал не меньше, чем педерастов, – в тюрьме и те, и другие норовили залезть если не в задницу, то в глотку, – надеяться было не на кого. К тому же за полтора часа скитаний по провонявшим медикаментами коридорам поликлиники он оставил врачам восемьсот леев. Любой его ровесник – а все они, в отличие старика, были нищими пенсионерами – имел право на полный медицинский осмотр – бесплатно, согласно полису обязательного медицинского страхования, гарантирующего престарелым толкотню и обмороки в многодневных очередях.

Но старик ждать не мог, и приходилось терпеть. И безжалостные поборы учуявших запах денег врачей, и холод больничных кабинетов, и даже вопросы, за которые на зоне принято отвечать тому, кто спрашивает.

– Сидели, я спрашиваю? – повторила Екатерина Александровна и поправила очки.

Ну, это уже слишком!

– Вы же сами видите, – засипел старик, кивнув подбородком на татуировки, – может, подробности хотите? Пожалуйста: количество куполов означает...

– Меня не интересует – перебила Екатерина Андреевна – что это там у вас означает.

– Что же вам надо? – растерялся старик.

– Можете хоть зарубки ставить, как Робинзон Крузо, – все больше распалялась пульмонолог, будто не расслышав вопроса пациента, – год – зарубка, еще год – еще зарубка. Я, мой дорогой, почти тридцать пять лет в медицине, и мне достаточно моих ушей и стетоскопа, чтобы выслушать амфорическое дыхание. Подозреваю – после туберкулеза. Одевайтесь!

Она гордо уселась за стол, взяла ручку и чистый бланк.

– Как, говорите, ваша фамилия?

– Касапу!!!

Крик охранника Санду был достопримечательностью кишиневской тюрьмы. Нечто подобное выпадало, должно быть, жене диктора Левитана в пылу семейной ссоры. То еще

испытанице: трубный баритон, сбивающийся на истерический визг. И хотя зэки посмеивались – почаще бы он дежурил, глядишь, тюрьма и рухнула бы – после каждого такого выкрика оглушенная камера затихала, чтобы через пару мгновений наполниться нервным шепотком, перебиравшим, словно бусинки на ожерелье, одни лишь матерные слова.

– Касапу, на выход! Давай, старик, пошевеливайся!

Криво улыбнувшись, Валентин Касапу пожал плечами, то ли извиняясь перед сокамерниками, то ли кивая на Санду, – что, мол, с дурака возьмешь. Внутри у Валентина легонько поскребывало: ему и в самом деле было неловко перед ребятами, тем более, что подготовился он еще с вечера – знал ведь, что кричать охранник будет громче обычного.

Это было пятое последнее утро Валентина в тюрьме. И все четыре последних утра начинались одинаково – с бешеного крика дежурного. Менялись камеры и этажи, менялись тюрьмы и охранники, а последнее утро каждого срока всегда начиналось одинаково. Дежурные будто только и ждали этого дня, чтобы, затянувшись спертым тюремным воздухом, забываемо исполнить свою партию и продолжать репетировать дальше – пока не придет время выпускать на свободу очередного мерзавца. В отличие от сокамерников – а сажать стали все больше молодых да глупых, из тех, кто еще не сидел, – Касапу заранее поеживался от голоса Санду. И ведь даже вещи собрал накануне, да только – эх, старость, старость – в последний момент закемарил, упершись локтем в свернутый рулоном матрас. Что бы ни говорили, а шестьдесят лет – много, насчет этого Валентин готов был биться об заклад. Особенно, если из этих шестидесяти двадцать семь провел за решеткой.

Освободившись в пятый раз, Валентин Касапу попал прямым в мечту всей своей жизни. В Кишинев образца 1993 года. Сколько себя помнил, Валентин не то что ненавидел советскую власть, он ею, скорее, брезговал. В молодости грезил бунтом, мечтал о свержении коммунистического режима и об отмене колхозного строя. Сердце Валентина пылало революционным нетерпением, но руки его, ловкие и разборчивые, тянулись не к винтовке, а к чужим кошелькам.

«Долой коммунистов!», – думал Валентин каждый раз, уводя толстое ли портмоне из сумочки модницы или пару мятых купюр из дырявого кармана фронтовика. Касапу повторял это как заклинание, не переставая радоваться своей выдумке – фразе из двух слов, верно служившей ему и талисманом, и девизом. Объясниться Валентин ни с кем не решался, но себе давно доказал, что урон Советам наносит уж по крайней мере не меньший, чем бездарные бунтовщики вроде «лучников Штефана Великого».

Разве кражи имущества граждан не подрывают социалистический строй? То-то. Тех же, кто ночами крушил сельсоветы, быстренько перестреляли-повысылали в Сибирь и Казахстан, а талисман Валентина подводил карманника по-божески – всего-то раз в три-четыре года. Но даже в тюрьме Касапу не представлял крушения коммунизма без своего, притом непосредственного, участия, опасаясь лишь одного – проспять минуту своего триумфа.

Поэтому, когда огромная империя незаметно, без торжественных речей и акта о капитуляции, рассыпалась словно трухлявое дерево, Валентину хотелось перегрызть себе горло. Он почувствовал себя обманутым, как дуэлянт, который тщательно готовится к поединку, привередливо меняет секундантов, ночами корпит над завещанием, а днем фехтует до онемения руки – и вдруг узнает, что соперник глупейшим образом погиб, упав с лошади. Впрочем, сил на решающую схватку – и в этом самом себе Валентин, не без горечи, но признавался, – давно не осталось, поэтому он с радостью согласился бы и на роль шакала, описывающего круги вокруг чужого, уже изрядно опустошенного стола.

Между тем Советский Союз уже два года как лежал в руинах, и золотой песок из его разлагающегося трупа вовсю сыпался в наиболее проворные карманы. Где мои силы, где молодость, думал Валентин, умиленно разглядывая выросшие повсюду, словно бурьян на заброшенном поле, торговые палатки. Шестьдесят лет – а Валентин вышел на свободу как раз в год

этого не внушающего радости юбилея – еще не конец, но и не тот возраст, когда начинают с нуля. На воле же Валентин оказался с честным словом в кармане. Некоторую надежду внушало лишь то обстоятельство, что слово дано было Митричем – вором в законе, при котором Валентин дослужался до смотрящего – впервые за пять отсидок.

– Найдешь Рубца, скажешь, что от меня, – говорил, наверное, в сотый раз в жизни, меняя лишь имена, Митрич, – он все сделает.

Валентин молча слушал Митрича, сидя у того в одиночке, за невообразимым для этих стен столом – с вином и бараниной, мамалыгой и плациндами, виноградом и дыней – изысками, запах которых сводил с ума обитателей соседних камер. Прощальный ужин Митрич наметил заранее, и хотя ему было жаль расставаться с Валентином, не отблагодарить Касапу за шесть лет преданности он не мог.

– Он мне должен, – добавил Митрич и поморщился: воспоминания о Рубце были явно не из приятных, – так что смело требуй. До чего довели...

Последние слова дались вору в законе с трудом – Валентин и сам почувствовал что-то вроде спазма в горле. Пускать слюни на плече нижестоящего, пусть трижды верного, для авторитета смертельно, но что еще остается, когда ты на обочине и знаешь, что навсегда? Из самых крутых переделок Митрич выходил молча, но когда тебе семьдесят два, ронять слезу не зазорно.

Из тех парней, с которыми он куролесил в молодости, никто не пережил даже генсека Брежнева. Никто, кроме Митрича, который, пережив перестройку, теперь если и мог кого убить, то исключительно за разговоры о демократии, рыночных реформах и западных кредитах. Нет-нет, Митрич не был убежденным коммунистом. Он вообще не был коммунистом и советскую власть любил не больше, чем Валентин. Но и в страшном сне – а Митричу часто снился туннель, по которому он шел, казалось, бесконечно, и чем дальше шел, с тем большей ясностью и бессилием понимал, что туннель этот – расстрельный, – даже в таком сне ему не могло привидеться, что крах коммунизма станет и его крахом. Концом его власти, а значит, и просто концом.

– Сучата, а ведь вот как всех держал! – сжимал он трясущийся кулак и, раскрасневшись лицом, выпучивал глаза так, что, казалось, не миновать беды – или глаза вытекут, или кулак разорвет.

Имен Митрич не называл, но каждый зэк и без подробностей знал, что сучата – это Андрей Лях и Нику Аполлон, воры в законе, двое из трех на всю советскую Молдавию. Третьим был Митрич, но никому и в голову не приходило назвать его третьим. Митрич крышевал и Ляха, и Аполлона – ювелирно, как старый хирург, который уже роется в кишках, а пациент все ждет первого надреза скальпелем. Московские воры – а над ворами молдавскими они имели такую же власть, как ЦК над республиканским комитетом партии, – всё, конечно же, знали, но вмешиваться не торопились. Митрич не беспредельничал, работал по понятиям и, главное, вовремя и сполна отстегивал в союзный общак – чего ж еще беспокоиться? Лях и Аполлон тоже не подавали вида, во всяком случае, на больших сходняках, куда съезжались авторитеты со всего Союза, держались так, словно Молдавия и в самом деле поделена на три справедливых доли.

– Орёл! – воодушевлялись они, когда речь заходила о Митриче, и только поэтому можно было заподозрить, что сами-то они – синицы.

Подрезать орлу крылья, чтобы самим взлететь повыше, Лях и Аполлон сговорились, стоило лишь московским паханам вдохнуть ветер перемен, а заодно – учуять запах больших денег и настоящей, охраняемой армией и ментами, власти. Союзный сходняк оказался не прочнее центрального комитета, и уже в начале девяносто второго года, отгородившись друг от друга и от московских воров государственными границами, теперь уже бывшие союзные авторитеты вдохнули – каждый свою – порцию сулящего власть и деньги ветра.

Удача, которую Митрич будто носил с собой – в одном кармане с четками и «Макаровым», впервые оказалась по другую сторону решетки. Сам же он, как назло, как раз находился за ней, коротая очередной, седьмой в жизни срок.

– Дайте только выйти! Дайте же выйти! – кричал он и грозился грохнуть – нет, не Ляха с Аполлоном, а ублюдка в судебной мантии.

Надо же было додуматься – посадить человека в преддверии крупнейшей геополитической катастрофы двадцатого века, как формулировал пятнадцать лет спустя сам Митрич, сидя в одиночке за одним столом с Валентином Касапу.

Свои прежние сроки Митрич принимал как должное и даже нужное. В тюрьме, где ничто не отвлекало от дел, он чувствовал малейшие колебания нитей, которыми опутал криминальный мир республики. В середине семидесятых он даже добился продления истекшего было срока: опасался на свободе, как он сам говорил, «выпасть за канаты».

– Чтобы боксер озверел, его надо оцепить канатами, – часто повторял он.

Тюрьма была для Митрича чем-то вроде санатория и рабочего кабинета одновременно. Здесь он был сыт, силен, уверен, и, как опытный шофер, точно знал, что ждет за поворотом.

И вдруг, в девяносто втором...

– Ничего, дайте только выйти, – грозил Митрич, но от этих увещеваний пользы было не больше, чем шизофренику – от самолечения.

Война подходила к концу, и каждый новый день являл Митричу новые признаки поражения.

Только странная это была война. Если бы у Нептуна, владыки морей и океанов, была подводная лодка, он, возможно, и достиг бы той степени могущества, к которому привык Митрич, сидя в кишиневской тюрьме. Можно субмарину назвать темницей Нептуна, а можно – неприступным убежищем, наводящим страх на и без того покорных обитателей морских глубин. В своей лодке Митрич безошибочно угадывал движение каждой самой мелкой рыбешки, да что там – малейшее помутнение воды не ускользало от его внимания. Он знал, что его боятся, и точно знал, кто, когда и где его перестанет бояться, как если бы обшивка субмарины была оснащена сверхчувствительным датчиком. Он контролировал все, пока его лодка не оказалась в подводной – не расстрельной, но не менее коварной – пещере, выход из которой кто-то поспешно замуровал. Передатчик продолжал работать, но ничего, кроме бессильного бешенства, постулавшие известия Митричу не приносили.

Апелляции, которыми он завалил суд, отклонялись с быстротой пробивающего талоны компостера. Его защитники – из Москвы были выписаны звезды российской адвокатуры – словно сговорились: один исчез за день до судебного заседания, второй не менее внезапно взял самоотвод и уехал в срочную командировку, из которой так и не вернулся, третий и вовсе умер, сиганув с балкона гостиничного номера. Погибали и те, кого Митрич называл опричниками, – этих изводили оптом и в розницу. То сразу пятеро взорвались в мерсе в самом центре Кишинева, то ведавший кассой бывший вундеркинд по кличке Минфин не проснулся после ночи с любовницей. Но большинство людей Митрича – а любое большинство тяготеет к победителям – спокойно и незаметно перетекло к новым хозяевам.

Да-да, к двум из трех, хотя никому уже и в голову не приходило назвать Митрича третьим. Все что у него осталось – полный грев, который Лях и Аполлон не решились отобрать, а еще – воспоминание об утраченной власти.

– Касапу, пора! – постучав – в камере Митрича орать не полагалось даже дежурным – робко заглянул Санду.

– Закрой, – даже не обернулся Митрич, и дежурный тут же исчез.

– Давай еще выпьем, – поднял кувшин Митрич, и вылил остаток вина в кружку Валентина.

«Бульк!» – ответила кружка, и Валентин заметил, как в темном вине исчезает, уходя на дно, что-то тускло-золотистое. Валентин поднял кружку и, глядя в ставшие вдруг цепкими глаза Митрича, выпил до дна, не разжимая челюсти. Не закусывая, Касапу нащупал языком что-то холодное, царапнувшее губу изнутри, и сразу определил, что это гильза.

– Ну, с богом, – поднял пустой кувшин Митрич и повернулся к двери. – Дежурный!

Валентин встал и, молча поклонившись Митричу, вышел через открывшуюся дверь. Поднял руки, оперся о стену, расставил ноги и подождал, пока его нехотя, словно стряхивая с одежды пыль, обыщет Санду.

Ну, Митрич! Ну, старый бестия!

Если капитан субмарины, заметив в пещере щель, достаточную для прохождения водолаза, ничего не предпринимает – дерьмо он, а не капитан.

Касапу шел по тюремному коридору и чувствовал, как слюна наполняется металлическим привкусом.

Значит, он и есть тот самый водолаз, хотя поначалу Валентин подумал было о бутылке с посланием, которой так наивно доверяют последнюю надежду все потерпевшие кораблекрушение.

Значит, послание в гильзе, а Валентин, в отличие от безмозглой бутылки, знает имя адресата.

Значит, Рубец, который, по словам Митрича, крышует кишиневский рынок.

На Валентина словно напялили бронежилет – идти было тяжело, но с каждым шагом он ощущал себя все уверенней, будто держал за щекой не гильзу, а оберег.

Он снова коснулся ее языком, словно боялся, что металл растворится в слюне.

Оставалось облачиться в скафандр и выплыть через главные ворота кишиневской тюрьмы.

Рубцом оказался Николай Семенович Мунтяну – во всяком случае, на этом настаивала серебристая табличка на двери кабинета. В верхней части ее, в два ряда, громоздились, толкая друг друга, важные буквы: «ООО Муниципальное предприятие Центральный рынок», а под фамилией примостилось скромное «директор» – именно так, с маленькой буквы. Слово «Рубец» на табличке отсутствовало.

В кабинете директора муниципального предприятия Валентин почувствовал себя непутевым пассажиром, соскользнувшим с подножки улетающего в будущее экспресса. Дыша белизной стен, сверкая обрамленными в пластиковые рамы стеклами (кажется, такие окна называются стеклопакетами), кабинет Рубца скрипел, жужжал, свистел всевозможными чудесами техники – факсом, компьютером и еще одним устройством, из которого бумага выходила с уже отпечатанным текстом, словно внутри умещалась первоклассная стенографистка в придачу с печатной машинкой. Вдобавок ко всему, к ремню на брюках Рубца крепился диковинный, размером с ладонь, черный прямоугольник, на котором имелось что-то вроде табло калькулятора.

– Пейджер, – ответил Рубец на вопросительный взгляд Валентина и, пожав руку, гостеприимно указал на кресло у окна.

– А что делать, сейчас без этого никуда, – добавил он, шурясь в отверстие гильзы, попавшей к нему с рукопожатием Валентина, – миллион дел в день, только успевай крутиться. Уберешь руку с пульса – нет гарантии, что завтра у самого с сердцебиением проблем не будет. Вот он и спасает, – Рубец кивнул на пейджер, – хотя скоро, базарят, беспроводные телефоны будут.

Покопавшись в столе, Рубец нашел изящный пинцет и уже извлек было из гильзы – аккуратно и быстро – крошечную, завернутую в целлофан бумажку, как вдруг замолчал стре-

котавший до этого факс. Бросив на стол весточку Митрича, Рубец ловко сорвал с аппарата длиннющий свиток. Несколько минут он молча читал, хмуря брови, и Валентин, вдруг почувствовавший себя ничтожно мелким в огромном кожаном кресле, вежливо кашлянул.

– Ну так вот, – востропавшись, Рубец стал аккуратно складывать свиток, – сейчас каждый должен быть на своем месте. Делать то, что лучше всего умеет. Прошли времена, когда кухарка управляла государством. Рыночная экономика, так-то братан. А где же еще быть рыночной экономике, как не на рынке? – он рассмеялся неожиданным фальцетом.

Братан!

Сказать, что Валентин почувствовал себя мерзко – ничего не сказать. О чем он, эта гнида? На зоне такие чушки боялись заговорить с Валентином, сторонились смотрящего даже взглядом. Во всем виде Рубца было слишком много несоответствующего его положению: мелкий, вертлявый, с реденькими пшеничными волосами и бегающими голубыми глазками, в красном, не по мерке, пиджаке, рукава которого он беспрестанно одергивал к локтям, обнажая бледные кисти. На безволосых пальцах его, под широченными перстнями, скрывались бледно-синие наколки.

Директор, мать его! Да он за последнего баландера не сойдет, а разносчиками всегда берут мужиков крупных – чтобы по десять похлебок за раз донести, да случись заварушка, вовремя дать деру, расчищая площадку профессионалам – головорезам с дубинками, наручниками и стволами.

Что ж, приходилось привыкать к тому, что за тюремными стенами все перевернуто с ног на голову.

– Нужны спецы, – продолжал разглагольствовать Рубец, – а с теми, кто трется вокруг, и так перебор. Менты, налоговики, санстанция бля, таможни. Хорошо, что я, так сказать, из этой сферы, так хоть с крышей вопрос решен.

Он решил с крышей! Блядь, неужели теперь на воле кругом такие вот авторитеты?! Не был бы Валентин голоден, как выброшенный за забор состарившийся сторожевой пес, он бы уже заблевал свежотремонтированный кабинет.

– В общем, место я тебе нашел, – Рубец поднялся и подошел к окну, выходящему на овощные ряды.

Валентин тоже встал и стал смотреть вниз – туда, где из движущихся навстречу, чтобы перемешаться друг с другом, потоков людей то там, то здесь выпадали одинокие фигуры и, словно перебежчики, устремлялись под навес овощного павильона. Еще с минуту их потускневшие силуэты можно было различить в полумраке, после чего они растворялись под тенью гигантской пластиковой крыши, а когда выплывали назад – чтобы вновь унести могучей людской рекой, их было уже не узнать – казалось, и одежда на тех, прежних, была другая, а уж баулов в руках – так точно на порядок меньше.

– Супер! Что скажешь, а! – Рубец толкнул Валентина плечом, и Касапу поморщился – то ли от внезапно удара, то ли от идиотского слова.

– Что скажешь, старик? – повторил, усаживаясь за стол, директор.

Тут же в кабинет вошли три крепыша в кожаных куртках, и Валентин решил, что у Рубца где-то под столом спрятана кнопка, которую он незаметно нажал. Не сказав ни слова, здоровяки уставились на хозяина, не удостоив Валентина даже случайным взглядом.

– Условия такие, – поджав губы, Рубец защелкал зажигалкой и, к ужасу Валентина, поднес ее, вспыхнувшую, к зажатому в пальцах посланию Митрича.

– Сдаешь всю кассу моим людям...

Бумага занялась неохотно, и Рубец, кивнув на парней в коже, по-прежнему игнорировавших Валентина, словно директор общался сам с собой, повернул крохотный свиток загоревшимся концом вниз – так, чтобы целиком утопить его в пламени.

– Двадцать процентов от заработанного – твои. Оплата в конце недели, день можешь выбрать сам...

Спрятав зажигалку в карман, Рубец бросил бумажку, вернее то, что от нее осталось, в пепельницу – дотлевать, испуская дух в виде белого дыма.

– Сейчас с ребятами познакомишься, пройдешься, так сказать, по цеху, осмотришься.

Пока парни в коже продолжали невозмутимо и, как показалось Валентину, слегка надменно смотреть в глаза Рубцу (интересно, а как он успевал смотреть в глаза сразу троим?), у Валентина где-то внутри словно уронили рельсу: он почувствовал, что не в состоянии пошевелиться. От бессилия у него задрожали руки, а еще – от одной мысли, что ему, еще вчера смотрящему в кишиневской тюрьме, теперь, чтобы не сдохнуть на воле, придется горбатиться на какого-то недоноска, в котором так жестоко ошибся Митрич.

– Это все, что я могу для тебя сделать, – развел руками Рубец.

– А что делать-то?

В душном кабинете – на стене висел ящик, который Валентин принял за кондиционер, но он почему-то не работал, – повисла пауза, и Касапу почувствовал, что духота становится невыносимой.

– Да, постарел Митрич, – подмигнул своим молодчикам Рубец, – а мне сказали, что ты – профи.

– Я смотрящий, – насупился Валентин.

Парни в коже одновременно повернулись к Валентину, будто услышали кодовое слово.

– Кто-кто? – театрально подставил ладонь к уху Рубец. – Я что-то не расслышал.

– Ссмотрящий!

– Ссмотрящий под кем? Не под грозным ли Митричем, а? Да вот он, твой Митрич, – схватив пепельницу, Рубец перевернул ее, обрушив на стол снегопад из пепла, – нет его больше! – он вскочил, поправляя брюки. – А ты – щипач, причем первоклассный. Для тебя здесь, на рынке – эльдорадо просто! Тьма народу, и у каждого кошелек. Митрич ему сдался! Другой бы ползал тут, ноги целовал, что к себе беру. Кому ты бля такой нужен...

Валентин слушал Рубца молча, потрясенный – нет, не его словами – а собственными мыслями. Мать твою за ногу, а ведь купился! Как это, оказывается, просто – торговать собой! И одновременно – продавать других.

– А, может, Митричу хотя бы, – начал Валентин, не понимая, кто заставил его, вскочив с кресла, пятиться спиной к выходу – возможно, Рубец, который, словно забыв о присутствующих, стал озабоченно раскладывать папки на столе, – может, помочь как-то, я не знаю...

– Все, идите, идите, – не переставая переключать папки, быстро кивнул на дверь Рубец, и парни в коже ретировались.

– Сожгли-то зачем? – уже в дверном проеме почти прошептал Валентин.

Закрывал он за собой осторожно, стараясь не хлопнуть дверью, но все равно хлопнул, успев услышать ответ Рубца:

– Это все, что я мог для него сделать.

– Девушка, ну долго еще?! Забирайте товар, люди ждут!

Расползающаяся к низу, словно тающий снеговик, тетка с засохшими томатными косточками на переднике поверх спортивных штанов нетерпеливо трясла кульком с помидорами.

– Подождать можете, да? – нервно запихивая кошелек в сумочку, огрызнулась покупательница, блондинка в темных очках.

– Очередь, говорю, ждет! Очки бы сняла!

Что тут началось! Сотканное из сотен голосов мерное жужжание, покрывавшее овощные ряды, разорвали, многократно отражаясь о крышу павильона, два женских визга, перебивавших друг друга целых три минуты, из которых Валентину Касапу хватило первых двух секунд.

Очень скоро Валентин понял, что едва истекшее заключение променял на новую тюрьму. На этот раз – огороженную четырьмя стенами кишиневского рынка. Если это и был перевод с одной зоны на другую, то – с понижением. Пошмонать, на правах смотрящего, забивших на понятия эков в их собственных камерах Касапу не мог, да и не было больше никакого смотрящего Касапу. Не было, впрочем, и эков, а лишь рабы рынка: реализаторы, грузчики, кладовщики и прочая почти дармовая сила, и еще – щипач Валентин Касапу.

В качестве персональной камеры, за пределами которой Валентину настоятельно рекомендовали не распускать умелые руки, ему отвели овощной павильон, и, видимо, поэтому Касапу получил от Семена Козмы, острого на язык начальника охраны рынка, новое прозвище. Хотя, почему новое? Погонял на Касапу никогда не лепили, даже для авторитетов он всегда был просто Валентином, а тут придумал же – «Вегетарианец». Питаться, однако, Валентину хотелось не только растительной пищей, и он плюнул – хоть горшком называйте, лишь бы поближе к печи. Пошустрить в соблазнительных мясном или молочном павильонах Валентин не решался: мешало данное Рубцу слово и служба Семена Козмы, что была крепче любой самой убедительной клятвы.

Правда, еще одно препятствие Валентин придумал для себя сам. Пообтеревшись пару недель, он решил, что охотиться будет только на женщин и исключительно на тех, кто решился на покупку. Шастающие между рядами, лишь бы поканючить о заоблачных ценах, бабы его не занимали. Он ждал, когда покупательница расстегнет сумочку и достанет на сгущаемый пластиковой крышей свет кошелек.

Насколько этот, изобретенный им же механизм идеален, Валентин не подозревал, пока не попал, как ему показалось в начале, случайно, на репетицию одной странной речи.

Вообще-то Рубец вряд ли рассчитывал на такого слушателя. Выскочив из здания администрации, директор отчаянно вертел головой, пока не наткнулся взглядом на сутулую фигуру старика в песочной кепке.

Так Валентин во второй раз оказался в огромном кожаном кресле, у окна в кабинете директора.

– На рынке мужчина особо остро ощущает свою вторичность, – читал Рубец, нервно вышагивая перед Валентином, – много ли удовольствия недовольно сопеть в спину благоверной и уныло закатывать глаза, пока та выбирает капусту потверже, а у тебя и без всякой капусты ладони изрезаны ручками пудовых сумок, задевающих при ходьбе асфальт. В компании с женщиной мужчина на рынке жалок – нет, не из-за перегруженных рук; в конце концов, тяжести – по мужской части. Унизительна сама диспозиция: инициативная женщина уходит в отрыв, пассивный мужчина плетется сзади и, если и не отстает, то напоминают скорее заглохшую машину, взятую на буксир. Между прочим, женщине ничуть не легче: представьте себе, каково это – буксировать под завязку груженный самосвал. Только вместо троса между женщиной и мужчиной – узы брака. Да, как не горько кому-то сознавать, но вся жизнь мужчин протекает в соответствии с неумолимой формулой семейного движения: баба, словно поводырь, тянет мужика вперед, причем к своей (он поднял палец) цели, пропуская его вперед лишь при необходимости. Как правило, чтобы пробить головой стену, внезапно возникшую на ее пути. Так правомерно ли упрекать мужчину в отсутствии энтузиазма? Чему должен радоваться, бреясь субботним утром, мужчина, обреченный подчинить свою личность явно не знающей границ женской воле? Не лучше ли так называемым семейным психологам отвлечься от расхолаживающей кабинетной атмосферы, от безликих теорий и запылившихся многотомных руководств? Пройдитесь по рынку, дорогие знатоки человеческих душ, и, может быть, тогда вы решитесь признаться, хотя бы себе, что истинная проблема многих семейных пар –

в систематически подавляемом врожденном лидерстве, которое, тем не менее, не вытравить из генов даже самых безвольных мужчин.

– Ну, как? – прервал он чтение, чтобы, по-видимому, торопливо пояснить: – Я тут книжку пишу. О рынке. Ну, скажем так, почти о рынке.

Валентин давно перестал удивляться происходившим с Рубцом переменам. Малиновый пиджак на узких плечах директора уступил место новому, кофе со сливками, костюму, сшитому так, будто Ив Сен Лоран – а Рубец любил повторять, что костюм от Ив Сен Лорана, – лично производил замеры талии, плеч и ног, чтобы, не дай бог, не расстроить любимого заказчика. Исчезли золотые фиксы, выдававшие в Рубце, во что бы тот ни был одет, мелкого уголовного, и теперь Николай Семенович Мунтян, директор муниципального предприятия, чуть небрежно пряча руку в кармане итальянских брюк, благодушно улыбался ослепительной эмалью зубов из металлокерамики.

Стремление к респектабельности не помешало Рубцу сохранить почти инстинктивное чувство реальности. Рассказывали, что как-то, в течение нескольких секунд, он распорядился проспонсировать городской конкурс красоты и сбросить в канализацию тонну куриных окорочков, в которых главврач санэпидемстанции, не получивший своей обычной доли, грозился обнаружить вирус птичьего гриппа.

Рубец стремительно выходил из тени, с видимым удовольствием отдаваясь щедрым лучам легального – пусть и на бумаге – бизнеса. Рассеянно слушая директора, Валентин рассматривал дипломы на противоположной от окна стене. Раньше такие же, под стеклом, в лакированной рамке, только с Лениным и серпом с молотом вместо молдавского триколора и гербового орла, вручали за успехи в социалистическом строительстве. Если верить дипломам Рубца, его вклад в рыночную экономику был оценен рядом ответственных функций в государственных и общественных организациях, а именно:

в 1997 г. – председателя Ассоциации рынков Молдавии;

в 1999 г. – сопредседателя Республиканского профсоюза работников агропромышленного комплекса;

в 2002 г. – постоянного члена коллегии Министерства сельского хозяйства;

в 2003 г. – члена комитета по торговле при правительстве.

Валентин подобным карьерным ростом похвастаться не мог. Он вообще не мог похвастаться ростом: за пятнадцать лет, проведенных на рынке, спина его заметно ссутулилась. А еще эти пятнадцать лет понадобились Валентину, чтобы выиграть спор у себя самого.

Да-да, оказалось, что шестьдесят лет – еще не старость. В отличие от семидесяти пяти.

– Ладно, иди, – замахал кипой бумаг Рубец.

Он пожалел, что позвал Валентина. В глазах карманника читалось такое равнодушие, что Рубец даже поморщился: Валентин ни черта не понял. Даже не пытался вникнуть.

– Кстати, изучи, – вынув из кармана сложенную вдвое бумагу, Рубец вложил ее в ладонь Валентина, – и постарайся как-то ускорить.

Так Валентин узнал о наличии в своих действиях точной, как швейцарские часы, системы. Если бы не дурацкое предисловие Рубца, содержание бумаги сошло бы за признание высочайшего класса воровского мастерства – не больше, но и не меньше.

секунды 1—3: покупательница расстегивает сумку и достает кошелек

секунды 4—15 (в зависимости от достоинства купюр и расторопности покупательницы): отсчитывает деньги, вручает их продавцу

секунда 9—15 (в зависимости от продолжительности предыдущего этапа) – не позднее, вне зависимости от начала третьего этапа, секунды 20: продавец вручает сдачу (если потребуется), но не спешит отдать товар

секунда 21—23: покупательница прячет деньги в кошелек, а кошелек в сумку

секунда 24—25: продавец в настойчивой форме требует от покупательницы немедленно забрать приобретенный товар – до того, как покупательница успеет закрыть сумку
секунда 26: кошелек – в кармане В.

Валентин сидел на скамейке в центральном парке Кишинева, пропуская через бессмысленный взгляд мелькавшие троллейбусы. Хорошенькая аудиенция, ничего не скажешь. Стоило ли пятнадцать лет ждать?

«Надо ускорить».

Валентин вцепился рукой в скамейку. Выходит, встреча не была случайностью?

«Не может быть», – повторял он, но, представив себя на месте директора рынка, Валентин затосковал. Глупо, да что там – непростительно рисковать свиданием, да еще в собственном кабинете, с карманником, обкрадывающим твоих же покупателей. Пусть и со своим, карманным, так сказать, карманником. Да и служба охраны прекрасно справляется: угрюмые жлобы искусно оберегали Валентина, и так же безупречно следили за каждым его шагом.

Первую волну – бессильного отчаяния – смысла внезапно нахлынувшая надежда, и, наполняясь радостью от вида подгонявших друг друга троллейбусов, напоминавших о кишиневских послевоенных трамваях, в которых долговязый и худощавый, юркий и неуловимый Валентин Касапу потрошил карманы и сумочки ничего не подозревающих пассажиров, щипач, словно ребенок, сжалившийся над канарейкой, позволил выпорхнуть из клетки своей души одной безнадежной мечте.

Вот он в кабинете Рубца, откуда, кстати, исчезли факс и принтер, но зато появилась приемная с длинноногой секретаршей. Чего только нет у нее на столе: тут и исчезнувшие факс с принтером, и компьютер со сканером, и два телефона, и куча лотков и бумаг. Вот Валентин в знакомом кресле у окна. Он говорит, а Рубец слушает, кивает головой и изумленно поднимает брови: ну, мол, даешь старик! А Валентин продолжает рассказывать, купаясь в накатывающем удивлении директора. Рассказывает, как в свои семьдесят пять бегаёт – каждый день! – в центральном парке: час утром и полчаса перед сном. Что вот уже года два как не есть мяса (нет, что вы, не в деньгах дело!), зато потребляет витаминизированные йогурты, и размалеванные бляди в супермаркетах, все в золоте и силиконе, заглянув в молочный отдел, брезгливо отшатываются от сухощавого старика, чтобы – Валентин чувствовал это спиной – открыв рот и хлопая накладными ресницами, тупо рассматривать его, удаляющегося, сзади и, встрепенувшись, сгрести в тележку упаковки чертовски дорогого йогурта, не меньше, чем прихватил этот (ну надо же!) совсем не нищий пенсионер. И еще Валентин много говорит о том, что его работа требует точности, профессионализма и хладнокровия, почти как труд оператора на атомной станции. Попробуй облажаться – устроят карантин не хуже чернобыльского. Так что, если есть такая возможность, хотелось бы пересмотреть, так сказать, условия. Нет, что вы, не в деньгах дело, а в справедливости, денег-то хватает...

– Так поделись, дед!

Валентин поднял глаза: двое ухмыляющихся парней с бутылками, из которых они по очереди отхлебывают пиво. Парней явно заинтересовали мысли Валентина, незаметно переключившиеся в речь.

– Поделись, а? Бедным студентам не хватает на пиво!

Валентин нащупал в кармане нож и оглянулся по сторонам. Через пару скамеек обнимались влюбленные – их здесь, в парковой аллее, под сводами протягивающих друг другу кроны каштанов, и днем-то не разглядеть, а уж в сумерках...

– Ладно, дед, жируй! – сказал парень – тот, что до этого молчал, и потянул за собой приятеля.

– Капиталист! – гаркнул на Валентина второй, и оба, заржав и шатаясь, направились в сторону обнимающейся пары.

Валентин поднялся и быстро пошел в противоположную сторону. Покидая каштановую аллею, он вдруг понял, что может ответить на вопрос, с сотворения мира мучающий всех несчастных людей. Вопрос был следующим: «почему я такой неудачник?». Ответ – именно ответ, а не вариант ответа, – теперь знал Валентин, и он был таким: «потому что всегда не успеваешь». Самую малость, но опаздываешь.

О чем теперь говорить с директором, о каком таком новом проценте, после того как Рубец опередил его? Да-да, на самую малость.

Да и решил бы Валентин? Посмел бы?

Неудачник! Самый что ни на есть, мать вашу!

«Ха-ха-ха! Руки вверх, ваша песенка спета!» – торжествовал шпион из мультфильма о капитане Врунгеле. Как-то пролежав два часа перед телевизором, Валентин вдоволь нахотелся над чудным мультиком и недоумевал – как это не приходилось видеть его раньше. Должно быть, сидел, успокаивал себя он.

«Да вот же она!» – хотелось Валентину, подчинившись мультяшному герою, вскинуть правую руку вверх – так, чтобы все убедились: его оружие в полной готовности. Но теперь он спешил по парковой аллее, не обращая внимания на каштановый свод над головой и ровный – большая редкость для Кишинева – асфальт под ногами.

«Надо ускорить», не выходило у Валентина из головы, и ему привиделась рука – тоже правая, но чужая, которую он сразу возненавидел.

Рука не была морщинистой и безволосой, со вздувшимися, как у Валентина, венами. Это была другая рука – мохнатая, молодая и мускулистая, стремительная как кобра и точная как копье.

Рука нагло копалась в дамских сумочках вместо руки Валентина.

Глава пятая

В одной из предыдущих глав были проведены, хотя и крайне поверхностно, параллели между продовольственным рынком и социально-экономическим устройством государства социалистического типа. В действительности проблема гораздо серьезней, чтобы ограничиваться рассчитанными лишь на эмоциональный отклик иллюзиями. Чтобы не вводить читателя в подобный наркотическому эмоциональный тупик, а заодно не водить его за нос, обозначу основополагающие положения данной главы в самом ее начале. Итак, я убежден, что:

1) Социалистическое государство реализует двоякую задачу в отношениях с индивидуальной человеческой единицей, а именно:

а) обеспечивает минимальный уровень социально-экономического благополучия, необходимый для поддержания лояльности человека государству в обмен на практически неограниченную эксплуатацию его трудового потенциала в собственных целях;

б) максимально ограничивает человека в возможностях достижения качественно иной ступени социально-экономического благополучия. В социалистическом обществоведении эта тенденция именуется «социальным равенством». Нетрудно догадаться, что в действительности речь идет о вынужденной мере, своего рода предупреждении имманентно хрупкого социалистического строя от краха, равнозначного трансформации социалистического государства в капиталистическое. Система общественных взаимоотношений последнего характеризуется, как известно, естественной конкуренцией, при которой нет и не может быть места социальным иллюзиям, и в их числе наиболее опасной, ввиду ее привлекательности, уже упомянутому так называемому социальному равенству.

2) Муниципальное предприятие «Центральный рынок», г. Кишинев, Республика Молдова в условиях становления системы социального неравенства – зачаточного, как его определяют сторонние аналитики, или дикого – по терминологии участников процесса, капитализма, — в своих базовых функциях совпадает с функциями социалистического государства, а именно:

а) позволяет поддерживать минимальный уровень социально-экономического благополучия, сдерживая таким образом рост социальной напряженности в период первоначального накопления капитала;

б) поддерживает видимость социального равенства, этого ментального рудимента, занимающего, тем не менее, центральное место в массовом сознании постсоциалистического общества. Чем очевидней крах системы социального равенства, тем больше степень веры масс в этот общественный фантом, вне зависимости от того, было ли социальное равенство реалией социалистического устройства, или элементом массового гипноза.

Невозможно представить, чтобы в модном бутике (к этой аналогии мы вернемся еще не раз) покупатели (скорее покупательницы) сварливо обсуждали заоблачные цены на, как их сейчас принято называть, брендированные вещи. Да что одежда, что обувь! В продовольственных магазинах самообслуживания, которые наши сограждане интуитивно, но по сути совершенно справедливо предпочитают называть супермаркетами, базовым критерием потребительского интереса является не цена на товар, как это имеет место на рынке, а сам товар. Качества товара в самом широком смысле: от собственно качества в том банальном понимании, в каком этот термин трактовался в условиях социалистической системы, а именно – минимального набора функциональных свойств, до социальных, эмоциональных и тому подобных, на первый взгляд, умозрительных качеств. Последние в действительности обладают огромной ценностью, более того, они незаменимы для покупателя капиталистического типа. В последнем случае товар выполняет сигнальную функцию, идентифицируя социальный статус – структурирующий элемент личности любого потребителя капиталистического типа. В связи с этим трансформируется и восприятие цены, поскольку оценивается не товар, а фактически место покупателя в общественной иерархии. Не удивительно, что потребитель готов переплачивать за продукт, социальные свойства которого на порядок превосходят функциональные.

В отличие от покупателя капиталистического типа, посетители Центрального рынка г. Кишинева знают лишь свою функциональную цену, а она, по подсчетам американских ученых, не превышает восьми долларов; во столько оценивается химический состав человеческого организма. К представленным на рынке товарам у такого рода покупателей отношение соответствующее: никакого пиетета, никакого атрибуирования иных функций, кроме функциональных, никакого иного применения, кроме удовлетворения прожиточного минимума. На первый взгляд, носители такого подхода – реалисты до мозга костей, практичные двуногие машины, у которых вместо головы – калькулятор. В действительности, это наиболее многочисленная и наименее приспособленная часть общества социального неравенства. Как остальные – те, кого мы отнесли к покупателям капиталистического типа, каким образом они, при равных стартовых условиях, таких как: стандартное советское образование, идентичное идеологическое воздействие, более широко – общая социальная среда, как они, представители этой куда менее многочисленной категории, оказались в авангарде становления капиталистической системы, предстоит, надеюсь, выяснить наиболее светлым умам будущего. Пока же мы вынуждены констатировать сознательное или неосознанное, но в любом случае ничем не оправданное пренебрежение обществоведами старого, но все еще эффективного компаративного метода для оценки нынешнего этапа становления капиталистической системы на постсоветском пространстве.

Мы уже выяснили, что так называемое социальное равенство является наиболее хрупкой и наименее долговременной формой общественных взаимоотношений, поскольку, и это

также представляется очевидным, в основе этих отношений лежит естественный принцип неравенства, что бы там не утверждали так называемые универсальные декларации. Нет ничего удивительного в том, что массы оказываются в простейших психо-социальных ловушках; в конце концов, психология толпы намного примитивнее внутреннего мира отдельного индивидуума.

Намного печальней, когда люди, призванные в моменты роковых поворотов общественной жизни находить новые ориентиры, формулировать и аргументировать новые цели, способные не столько утешить массы, сколько внушить им достижимость новых перспектив, как эти люди либо сами оказываются в ловушках, либо, что еще хуже, создают их в циничном расчете заарканить как можно больше потерявших ориентиры сограждан. Чем же еще объяснить господствующее сегодня в нашем обществе представление о том, что социалистическое социальное равенство – чуть ли не синоним гарантированного прожиточного минимума? Возникающие при этом неизбежные аналогии с капиталистической системой трактуют последнюю как строй, созданный для богатых, которые купаются в роскоши, в то время как подавляющая часть общества борется за достижение того самого минимального уровня, который при социализме якобы гарантирован.

Дело не только в идеологической зашоренности данной формулировки, и даже не в ее очевидной фальшивости. Апологеты подобной точки зрения упорно и, как нам кажется, намеренно сопоставляют феномены социальной жизни из двух несопоставимых периодов. Разве в первые десятилетия Советской власти, вплоть до начала Второй мировой войны, меньше говорилось о необходимости социального равенства? И разве не были предприняты радикальные шаги для достижения этой цели? Одна коллективизация с индустриализацией чего стоят. Привело ли все это к социальному равенству? Если брать во внимание тотальное обнищание – наверное привело, ведь в бедности все равны. Вот только как быть с гарантированным прожиточным минимумом? Так справедливо ли сравнивать уровень социального благополучия, достигнутый в период т. н. развитого социализма с уровнем социальной адаптации при капитализме становящемся – периоде, который наше общество переживает в настоящее время? А ведь именно этим занимаются современные социологи, политологи, и просто политические популисты, эксплуатирующие наиболее низменные социальные инстинкты масс. Что же, это легче, чем вести кропотливую работу по трансформации массовых инстинктов в социально-конструктивные ментальные установки – мощнейший механизм преобразования общества в соответствии с объективно сложившимися реалиями, где не должно быть места социальной апатии, прикрываемой деструктивной ностальгией по прошлому. Поэтому, если и сопоставлять развитие капиталистического и социалистического обществ, то, применив уже упомянутый компаративный метод, необходимо оперировать равноценными периодами, и тогда не будет казаться странным, что между 1990 и 1993 годами наше общество прожило не три года, а целую эпоху, и вряд ли кого-нибудь удивит, что между Америкой 1937-го и Молдавией 2007-го много общего: в обоих случаях мы наблюдаем массовый исход обездоленных мигрантов.

Возможно, когда такое осознание произойдет, Центральный рынок г. Кишинева и перестанет играть ту социально-терапевтическую роль, которая неблагодарно не осознается меньшинством капиталистического типа, погруженным в первоначальное накопление. Кто знает, происходило бы это накопление так же беспрепятственно, не будь у обездоленного большинства социально-экономического утешения, такого декоративного социализма, роль которого играет наш Центральный рынок?

Между прочим, эта роль гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, и именно в психо-социальном аспекте. Обратим внимание на рыночную толпу. Найдется ли в современном молдавском обществе более красноречивая иллюзия на жизненный путь человека при социализме? Отдельному человеку вырваться из рыночной толпы подчас не легче, чем сар-

дине – из могучего косяка, тянущему ее к южному побережью Африки. И если сардина, маленькая безмозглая рыбешка, и плавником не поведет, чтобы отделиться от общего движения вперед, ибо чувствует – ее сила в единстве, то человек, этот прямоходящий организм, стоит ему начать сопротивление так называемому «стадному» инстинкту рыночной толпы, являющемуся в условиях социалистического общества ничем иным, как инстинктом самосохранения, сразу оказывается в сомнительном положении, как правило, перед ненужными или дорогими товарами, и, что гораздо хуже, вообще без места в толпе, которое не занято другими и не вакантно – его просто больше нет, как не остается пустого места в косяке от сожраных хищными рыбами сардин.

Между тем, роль рыночной толпы в обеспечении пресловутого прожиточного минимума отдельной человеческой единицы трудно переоценить. Достаточно вспомнить, как она, я имею в виду толпу, безошибочно ведет индивидуума к так называемому оптимальному соотношению цены и качества.

Стандартная ситуация: группа людей штурмует торговую точку с помидорами, в то время как соседние лотки – с томатами точно такого же цвета, размера, сорта и вкуса, не вызывают ровно никакого интереса. Здесь впору говорить о присущем рыночной толпе инстинктивному чувству цены, ведь разница между двумя идентичными продуктами может не превышать считанных процентов. Отдельный индивидуум на рынке может довериться толпе, даже желательно, чтобы на те полчаса-час, что он проводит здесь, его личность как бы растворилась в коллективном разуме, о чем ему не придется жалеть: ведь действительно удачными его действиями будут решения толпы, которым он всецело подчинится. Путь нашего покупателя – от западных ворот к восточным, или наоборот, — это жизнь человека социалистического типа. Жизнь, в которой не выжить вне толпы, и стоит ли удивляться, что к нам так тянутся люди, потерявшие толпу своей жизни.

Можно, конечно, радоваться, что поток наших клиентов, а значит, и приток прибыли иссякнет, похоже, не скоро и даже гордиться тем, что мы не так уж плохо справляемся с социальной функцией, которой нас официальные органы не наделяли, хотя утешение обездоленных – как раз по части государства.

Но, знаете, с гораздо большим удовольствием мы протянули бы между стенами рынка металлический каркас, навесив на него жестяные листы, имитирующие старый добрый шифер. Мы залили бы весь асфальт бетоном, постелив поверх сверкающий кафель, а обшарпанные стены закрыли бы по всему периметру идеально ровным гипсокартоном. Мы провели бы сотни метров канализации, водопровода, электричества, вентиляции и сигнализации. Установили бы километры торговых полок в несколько ярусов и с полсотни касс последней модели. Мы не пожалели бы средств, сил и времени, чтобы создать самый большой, самый совершенный и самый удобный супермаркет в городе, и больше не вспоминали бы о рынке, где десятки тысяч людей ежедневно приобретают всякую дрянь, экономя на всем, только бы дотянуть до следующего визита к нам.

Мы бы радовались как дети, зная, что большинство сограждан больше не веряет решение проблемы собственного выживания толпе, но для этого нужно, чтобы вопрос о выживании потерял свою актуальность. Мы с гордостью считали бы свою миссию выполненной, и в наших сердцах не нашлось бы и уголка для ностальгии по рынку, который позволил людям пережить смутное время становления системы социального неравенства. И пусть в нашем супермаркете выбирали бы сыр не подешевле, а повкуснее. И пусть бы у полок застывали тысячи мучительно размышляющих, привередливо рассматривающих этикетки одиночек, а не тысячная толпа, мгновенно и безошибочно решающая задачу, но только одну – «что-бы-такое-купить-подешевле-чтобы-не-сдохнуть».

В конце концов, человек – он ведь дороже восьми долларов.

И, кстати, супермаркет – чертовски прибыльное дело!

Лист, который Касапу так и не развернул по дороге домой, теперь валялся, скомканный, под диваном. На обратной стороне лежал Валентин и шурился в телевизор. Этот фильм он смотрел раза четыре, и это только за последний год. Сегодня он впервые решил досмотреть его до конца и как раз наблюдал за развязкой.

Актер, изображавший, кажется, демона – на дьявола он не тянул, хотя и очень старался, – на самом деле походил на чикагского гангстера. Галстук, шляпа, голливудская улыбка, обаятельная и кровожадная. Но главное – автомат, из которого он резал очередями крылья ангелов. Ангелы, кстати, те еще были: два вполне взрослых обалдуя, весь фильм паливших в кого попало. Так что Валентин не пожалел бы, если бы демон и вовсе пришел их. Но он лишь перебил им крылья, без которых ангелы стали, наконец, теми, кем, похоже, и стремились стать – ублюдками, перебившими кучу людей.

Выругавшись, Валентин прицелился пультом в экран, отчего телевизор тут же выключился и, кряхтя, полез рукой под диван. Развернул мятый листок, прогладил и стал читать.

Вообще-то, эти четыре строчки Валентин запомнил сразу и наизусть, но приятные слова хочется перечитывать снова и снова, верно? Тем более что, увидев этот сложенный вдвое лист впервые, Валентин отшатнулся как от огня, – по идее, смертельно опасного как раз для этого клочка бумаги.

– Тебе передали, – шепнул охранник Женя, вкладывая лист Валентину подмышку.

Касапу, словно ему сунули раскаленный уголь, взмахнул рукой и отпрыгнул в сторону.

– Не понял, – похоже, действительно не понял Женя, и Валентин, буркнув что-то невнятное – сам он так и не вспомнил, что именно, – наклонился за упавшим на асфальт листком и зашагал прочь, на ходу складывая бумагу: вначале вчетверо, затем – в карман.

И хотя ему хотелось бежать – прочь с рынка, из города, из этой, будь она неладна, жизни, шел он медленно, оттягивая мгновение, когда окажется в квартире и – куда деваться, – развернув бумагу дрожащими руками, станет читать.

«Надо ускорить», пульсировало у него в голове, пока он плелся по улице Митрополита Варлаама, обгоняемый вечно спешащими маршрутками.

«Надо ускорить», подгонял его скроенный из выхлопных газов теплый ветер, который у каждого автомобиля свой.

В кармане словно развели костер, набросав бревен – так там было жарко и тяжело. Почему-то Касапу вспомнилась древняя легенда, то ли греческая, то ли египетская. В ней герою подсунули одежду, пропитанную, как оказалось, ядом. У Валентина даже потемнело в глазах – казалось, яд с бумаги растекается по организму прямо из кармана.

В съемной квартире Валентина было, как всегда, тихо, но теперь молчали даже настенные часы: их заглушал пульсирующий шум в ушах.

«Надо ускорить», бог знает в какой раз повторил кто-то в голове Валентина, и он полез дрожащей рукой в карман.

секунды 27—35/42 (в зависимости от местоположения В. в овощном павильоне): В. перемещается в рыбные ряды.

секунды 43—47 (в зависимости от обстановки у «рыбников»): В. оставляет кошелек на наименее людном прилавке

секунды 47—48: следящий за В. охранник забирает кошелек и направляется в условленное место

секунды 48/52—60 (в зависимости от местоположения В. в рыбном павильоне): В. возвращается в овощной павильон, чтобы начать с секунды 1.

Итого: 60 секунд

Раньше Валентину едва хватало трех минут, чтобы добраться в другой конец рынка. Там, на углу перед входом в мясной павильон, всегда дежурил кто-то из охраны, которому запыхавшийся Касапу бросал добычу через расстегнутую до пупка молнию. Кошелек падал внутрь плотно облежавшей ниже пояса куртки, в которой охранник стоял, словно талисман мясного павильона, круглый год – мерз, потел, мокнул под дождем и ненавидел старика, исправно приносившего деньги. Охранники менялись, но куртка на них и старик с деньгами оставались теми же.

Пока Валентин читал, перед ним словно маячил Рубец – злой, взмыленный, нервно надиктовывавший длиннющей секретарше эту, если ее так можно назвать, инструкцию.

«Шагу! Шагу без меня не сделаете!» – кричал он, переводил дыхание и продолжал диктовать.

Почему-то Касапу решил, что бумагу составлял именно Рубец. Уж точно, не кто-то из охранников, что было ясно из Жениного «тебе передали». Возможно, Козма, но Валентину все же хотелось думать, что именно Рубец.

Пятнадцать лет жить с чувством, что тебе сделали одолжение! Словно подобрали на улице. Бросили кость. Вытащили с помойки, да еще и подарили золотиносный рудник. На, вкалывай на здоровье!

И Касапу вкалывал: обчищал женские сумочки шесть дней в неделю (в понедельник рынок не работал), по шесть часов в день, лишь бы не чувствовать себя должником. Чтобы и мысли такой у Рубца не возникло. Когда же пару лет назад Валентину шепнули, что Митрич умер в тюрьме, Касапу, не сдержавшись, разрыдался. Не от жалости – в конце концов Митрич был старше на двенадцать лет. Благодарность – вот что сочилось из глаз Валентина. Запоздалое признание за обеспеченную старость, билетом в которую Митрич щедро одарил Валентина в день их последней встречи.

Но теперь, лежа на диване съемной квартиры, ценой двести евро в месяц – целое состояние для молдавского пенсионера, – Валентин ощутил во всем теле легкость от одной мысли, что никому и ничего не должен.

Что? Рубцу больше нечем заняться, как думать за гребанного воришку?

Плывать!

У него комиссии, министерства, заседания, а он чуть ли не с секундомером просчитывает каждый шаг за старого пердуна?

Да плывать же!

У него бизнес на миллионы – миллионы, мать вашу, евро, а он тратит два часа – знаете, знаете, сколько стоит минута его времени? – которые не удосужился потратить на самого же себя занюханный щипач?

Плывать, мать вашу, плывать!!!

«Надо ускорить»!

И это после пятнадцати лет, да еще кому? – старику, который в отцы годится! Пусть оглянется вокруг, высунет морду из затонированного, блядь, мерседеса, пусть посидит у засанного парапета, рядом с нищими, искалеченными жизнью и такими вот ублюдками стариками! И пусть попробует после этого...

Да! Пусть попробует найти хотя бы одного толкового карманника, пусть!

Хрен он кого...

Валентин закашлялся – он опять не заметил, как заговорил, вернее, закричал.

Эх, старость, старость...

Старость и одиночество. Сестры-двойняшки. Две не разлей вода реки, уносящих к последнему водопаду, за которым – пропасть в бесконечность.

Одиночество доставляло Валентину не меньше хлопот, чем старость. Дело не в семье, которой у него никогда не было, а в настоящем одиночестве, которая сродни болезни. Если так, то Валентин был обречен – его болезнь достигла последней стадии.

Это когда не с кем поговорить. Совсем.

Необходимое условие работы карманника – незаметность – предстало перед ним в жутком виде, как если вместо слепой любви подданных правитель внезапно почувствовал бы на собственной шкуре истинную причину поклонения себе – парализующий страх перед тираном. Валентина не замечали не только жертвы, что не давало повода для беспокойства, но и те, кто так же, как он, кормился с рынка – более или менее законными путями. Или замечали, но делали вид, что его вовсе нет.

Кто же будет разговаривать с тем, кого нет?

Исключения составляли «пастухи» Валентина – охранники, да и те перестраховывались, заговаривая лишь в крайних случаях. Торгаши овощного павильона, повязанные обязательством осуществлять отвлекающий маневр, и вовсе ненавидели Касапу. Нет, в глаза ничего такого себе не позволяли, но смотрели в лучшем случае как на привидение.

Однажды Валентин не выдержал и, подмигнув Нине – любимой реализаторше (о, как она выдерживала паузу, как вовремя теребила покупательницу за рукав – «забирайте, забирайте, очередь же!»), чувствуя прилив ничем не объяснимой веселости, спросил: «Почем картошка?»

Ох! Хорошо, что Нина – не экстрасенс. Вроде Кашпировского или Чумака. Взглядом, которым она обожгла Валентина, не то что воду заряжать – человека сжечь можно. Валентину будто дали в морду и под зад одновременно: покраснев, он побежал, вливая в толпе, и остаток дня провел в центральном парке, мрачно вышагивая по асфальту каштановой аллеи, пересаживаясь с одной скамейки на другую.

Лучше перо под ребро, чем такой взгляд!

Хотя нет.

Про день, когда молчаливая ненависть выплеснулась-таки наружу, Касапу не мог думать без одышки. День этот мог стать для него последним днем на свободе, но стал последним рабочим для Игорька – шустрого продавца зелени.

– Ой, кошелек украли! – растерянно воскликнула женщина с двумя хвостами – одним, спадающим роскошными волосами с затылка на спину, и еще одним, тянущимся едва уловимым шлейфом дорогих духов, по которому Валентин и вычислил новую жертву.

– Не иначе, старый шакал увел, – услышал Валентин голос Игорька, поспешно покидая овощной павильон с толстым лакированным кошельком в кармане.

На следующее утро реализаторы о чем-то тревожно перешептывались и подавленно замолкали. Накануне вечером окровавленного, с проломанной головой Игорька обнаружил случайный прохожий под забором Армянского кладбища. Поговаривали, что лечение займет месяца три и что Игорек, даже если выкарабкается, не сможет не то, что торговать – ходить вряд ли будет. Как бы то ни было, а стол Игорька пустовал недолго – через неделю петрушка и сельдерей бойко расходились из рук высоченной девки, исключенной из колледжа за долги по оплате учебного контракта.

После случая с Игорьком от Валентина стали отворачиваться задолго до его приближения, в особенности продавцы соседнего с овощным рыбного павильона. Стоило ему появиться у них в междурядье, когда кошелек, словно черная метка, мог в любую секунду оказаться перед носом каждого из торгашей, медленно сползая по липким рыбьим бокам, как реализаторы либо ныряли под стол – якобы за товаром, либо поворачивались боком – пересчитать выручку, а то и вовсе показывали Касапу спину, затеяв ставший вдруг неотложным разговор с коллегой из соседнего ряда.

Валентин чувствовал себя котом, попавшим в мышиное царство. Повсюду его покусывали – зло и исподтишка, хотя и не смертельно. Но так же как кот, уйти он не мог – слишком уж лакомым было место.

«Как прокаженный!» – задыхался от ненависти то ли к торговцем, то ли к себе Валентин. В таком состоянии его взгляд обычно останавливался на цыганках, вытянувшихся живой цепью во всю центральную аллею рынка.

– Отрава, отравка! Отрава для мышей, тараканов, – галдели они с утра до вечера, – свечи, носки, чулки!

Как же он раньше не замечал? И в самом деле, цыганки никогда не прятали взгляда от Валентина, теперь же он не мог не заметить, что они не просто видят – они его рассматривают.

«Да-да, и они тоже. Их тоже никто не любит», – думал Валентин, и сердце его наполнялось неожиданным теплом при виде этих смуглых и сморщенных лиц.

– Может, вы мне погадаете? – подошел он к одной из них, чувствуя, что больше не может, да и не нужно, сторониться этих, возможно, последних родственных душ.

Другие цыганки, как по команде, замолчали и устали на Валентина. Самая пожилая, которой Касапу доверил рассказ о собственном будущем, недоверчиво покосилась на протянутую ладонь карманника. Покопавшись в сумке, она достала тонкую церковную свечку, щелкнула невесть откуда взявшейся зажигалкой и поднесла огонь к фитилю.

– Лучше я за тебя свечку поставлю, – сказала она, – вот так.

И, перевернув фитилем вниз, погасила свечу о ладонь Валентина.

Глава седьмая

Давайте сразу условимся: женищина гораздо лучше мужчины приспособлена к обществу потребления. Возможно, это прозвучит цинично, но без женищины никакого общества потребления не было бы. Хотя, не исключая, что, не наступи эра потребления, исчезли бы и сами женищины. Как бы то ни было, а без признания превосходства женищин над мужчинами в данном аспекте настоящая глава не сложится, как не выйдет победителем из спора с женищиной мужчина без признания ее правоты.

Истина не в том, что к женищинам мужчины подчас относятся как к товару, при этом некоторые из них считают себя продавцами. Но даже если и так, то и подобная расстановка – в пользу женищины. Не каждый день продавцу улыбается удача, он терпит убытки, может даже разориться, а качественный товар всегда найдет покупателя, это я вам как директор рынка заявляю. Не продавец торгует товаром – товар меняет продавцов.

Огромный недостаток политической экономии – социально-экономический анализ без учета психологии полов. С таким же успехом можно изучать причины таяния арктических льдов, заранее исключив фактор глобального потепления. А ведь причина обоих процессов – в позитивной динамике среднегодовой температуры на планете. Причина возникновения общества потребления и особого места, занимаемого в нем женищиной, – тоже одна, а именно – женская зависть.

Нет, вообще-то зависть женищины к женищине так же естественна, как мужское бахвальство. «Женищины склонны к обману», – то и дело слышим мы, забывая или умалчивая тот факт, что за женским обманом не кроется злого умысла или, более того, маниакальной склонности. Обман – всего лишь боеприпас зависти, играющий примерно такую же роль, как серебряные пули в борьбе с вампирами: без них не управиться, но и сами по себе, без прилагаемого к ним орудия они совершенно бесполезны – не станешь же, в самом деле, расстреливать вурдалаков из рогатки.

«Привет, дорогая, как ты?»

«Прекрасно выглядишь!»

«Тебе так идет!»

«Ой, как тебя классно подстригли!»

«Целую, подружка!»

Обман и зависть, зависть и обман. Женищина усыпляет бдительность другой женищины, чтобы нанести внезапный удар, поднимающий ее на вершину успеха у мужчин. В этом, повторюсь, нет ничего необычного и страшного. Зависть одной женищины к другой – и не зависть вовсе, а здоровая конкуренция, подталкивающая женищину к самосовершенствованию.

А вот когда женищина завидует мужчине...

Что я слышу? Откуда эти истеричные визги? Неужели феминистки?

Мужчины, опасайтесь собственного малодушия! Феминизм – не столько защита слабых, сколько уничтожение сильных. Эта плотина, перегородившая вечно живую реку эволюции, и вот уже все мы плещемся не в кристально чистом, стремительном потоке, а барахтаемся в мутной жиже, где отовсюду слышится мерзкое кваканье. И пусть многие из лягушек – вылитые принцессы, лучше от этого не становится. В конце концов, не каждому нравится жить в болоте. Беда в том, что, кроме болот, других пригодных для жизни мест, похоже, уже не осталось.

Как, феминистки требуют справедливости? Я не объективен, я умалчиваю истинные причины? А какие, позвольте спросить? Ах, неравенство в правах, дискриминация по половому признаку, несправедливая оплата труда?

Что ж, я отвечаю. Лучшие всего – результатами триумфального шествия феминизма. Вместо неравных прав – господство серости на всех ступенях общества. Вместо недоплаты за женский труд – пожизненные финансовые гарантии массам ничтожеств, этих живых мертвецов, до самой смерти захороненных в офисных склепах. Наконец, вместо сексуальной дискриминации – орды инфантильных мужчин, для которых мужественный поступок – не обделаться в застрявшем на пару часов лифте.

Не хочется, да и не буду цитировать преданных феминистками анафеме авторов, которые, несмотря на ожесточенное сопротивление, нет-нет, да и умудряются, благо Интернет пока не закрыли, высказать о женской эмансипации то, что думают, а не то, что нужно прогрессивной политкорректной общественности.

«Среди представителей точных наук феминисток нет». «Феминистки изгнали с экрана обнаженную натуру, но не имеют ничего против самых кровавых сцен, вплоть до расчлененки». «Политкорректность, это чудовищное порождение феминизма, рассматривает психически нормального гетеросексуального мужчину как исчадие ада».

Я далек от теории неполноценности женищины в сравнении с мужчиной, но не в силах объяснить упорное стремление феминисток выдать слабое за сильное, глупость – за ум, черное за белое. А главное – их патологическое желание выдать себя за мужчин. Политика – нет, это частное явление, всего лишь верхушка айсберга, все самое страшное скрыто в пучине так называемой повседневной жизни так называемых обычных людей.

Хотя, если уж речь зашла о политике...

Кажется, мы слышали это всю жизнь: «в политике недопустимо мало женищин», «женщин не пускают на государственные должности», «женщины дискриминируются в своих политических правах». Стоит только, уверяли нас, отдать женищинам ключевые посты, как голодные насытятся, здоровые поправятся, мир станет мирным, а человечество – человечным.

Оглянитесь вокруг: женищины-министры, женищины-спикеры, женищины-канцлеры, женищины-президенты. Ну, и как вам этот мир? Гуманный мир, сытый мир, самый мирный из всех миров, не так ли? Не знаю как другие, но когда я вижу на экране этих монстров в юбке, африканские президенты-каннибалы не кажутся мне злом в последней инстанции. Вот женищина –

министр иностранных дел, спокойным, без малейшего намека на дрожь, голосом объявляет о начале военной операции. Женищина-министр экономики прогнозирует увольнение десятков тысяч работников нерентабельных отраслей. Женищина-президент вручает государственные награды и улыбается подряхлевшим головорезам, пожимая их старческие руки, с которых даже времени не под силу смыть кровь.

Не слишком ли они заигрались в мужчин? Да так, что превзошли их в цинизме, жестокости, безответственности – в тех самых гнусностях, которые феминистки приводят в доказательство безнадежной безнравственности сильного пола?

Между прочим, феминизм, пусть и частичный, всегда присутствовал в советском обществе, и не нужно плутать в политических дебрях, достаточно вспомнить доблестных красавиц и шпалоукладчиц, Паину Ангелину и Валентину Терешкову. Вот только о своих правах наши женищины слышаны не были, да и слова такого – «феминизм» – знать ничего не знали. К счастью наших отцов и дедов. А вот нам, похоже, придется столкнуться с опасностью лицом к лицу. Печальней всего то, что опасность живет с тобой в одном доме, спит в одной постели. Все равно, как если бы инопланетное существо проникло в здоровый организм, перепрограммировав его на бесчеловечные гнусности – вот что такое феминизм для нашего общества.

Взгляните на женищину, идущую по Центральному рынку г. Кишинева. Много ли в ней от женищины? Нет, она может попытаться оставаться женищиной и на рынке, но среда, среда...

Как неуместно будет выглядеть на рынке женищина кокетничающая, женищина стильная, женищина обворожительная и сексуальная. Вот она в платье с вырезом, в шляпке с вуалью, на высоченных шпильках, гордо протискивается между мешков с картошкой и лотков с капустой. Она потеет, с нее сбивают шляпку, платье мнут. Отдав шпилькой чью-то ногу, она немедленно вознаграждается явно не заслуженным комплиментом («вот уродина!») и после всех злоключений выглядит помятой, нелепой, заплаканной неудачницей, которая на рынке уместна так же, как гусарский жеребец на графском балу.

Но может быть, женищине вообще бессмысленно показываться на рынке?

Если и показываться, то вот какой.

Вот она входит через западные ворота, заранее надев на лицо маску деловой озабоченности и отчужденности. На ней обычные джинсы, темная неприметная блузка и туфли на низком. Холодная и сосредоточенная, она вклинивается в толпу и медленно, синхронно с общим движением, направляется в сторону молочного павильона. Она не старается быть красивой (большинство женищин преднамеренно не красятся перед тем, как отправляются на рынок, чем безмерно радуют мужей, устающих от ежедневных часовых кривляний супруги перед зеркалом). На рынке женищина не улыбается, не старается говорить томно, или высоко, или гулко (у каждой женищины есть собственная убойная интонация – еще один боеприпас зависти, который недалекие мужчины считают сексапильным голосом). Ей и в голову не придет подражать знаменитой походке Синди Кроуфорд. Одним словом, на рынке женищина не пытается быть лучше, чем она есть на самом деле. Сюда она приходит без зависти к другим женищинам, она честна настолько же, насколько может быть честной в общении с поднадоевшим мужем или с соседкой сверху, заливающей квартиру после каждого ремонта.

«Почем капуста? Да подавитесь такими ценами! Сама дура! А ну-ка, поверните телешину! Да какая же свежая, вся потемнела! Вот врет-то, а еще задницу отъела! Мужчина, а вы куда прете! Я перед вами занимала!»

И все-таки женищина на рынке завидует. Завидует мужчине, его грубой физической силе, с которой он продирается сквозь толпу, завидует его нетерпению, с которым он пронесется по рынку, подобный урагану, – женищина инстинктивно противится такой скорости в местах

торговли (мужчины тяжело вздохнут, вспоминая бездарно потраченное в модных бутиках время в ожидании прекрасной половины).

Итак, женщина на рынке честна и не завидует другим женщинам. Собственно, это уже вердикт, поскольку перед нами – не женщина. Это – машина, циничная и расчетливая, жестокая и непривлекательная. Вылитая феминистка.

На наше счастье, до общества всеобщего потребления, а следовательно, до диктатуры феминизма нам еще далеко, и не факт, что с такой жизнью большинство из ныне живущих дождутся этой поистине жуткой эпохи. Но стоит уже сейчас задуматься, хотим ли мы в этом обществе оказаться.

А лучше – решать проблему феминизма уже сегодня, когда наше, кажущееся пока далеким, развитое капиталистическое будущее, похоже, предопределено.

Люди в церкви гудели, как рой слетевшихся на покойника мух. Отдельные слова – что-то о столовой и калачах – доносились лишь из задних рядов, тех, что теснились у входной двери, к которой прислонился, оказавшись внутри, Валентин.

Собравшиеся и в самом деле провожали покойника, вернее покойницу, гроб с которой занимал почетное место под центральным куполом церкви Святого Пантелеймона. Лицо у почившей старушки было неестественно сморщенным, словно померла она лет пять назад.

«Зачем мумию отпевать-то?» – подумал Валентин и тут же звонко хлопнул себя по лбу, словно изгоняя богохульные мысли.

На хлопок укоризненно обернулись, но жужжание разговоров стихло, лишь иногда кто-то невидимый покашливал, и еще – слышались сдержанные, но нетерпеливые вздохи. Людей можно было понять: батюшка работал добросовестно, и это утомляло.

Валентин застыл в дверях, не решаясь уйти, но и не понимая, зачем оставаться. Он почему-то был уверен, что в будний полдень в церкви будет пусто, но не учел, что люди умирают, не сверяясь с календарем.

– Проходите, что же вы, – женщина, которой Валентин загородил вход, подтолкнула его в спину и заодно – к решению остаться.

Да и тянуть Валентину было уже нелегко.

– Двенадцать штук, – ткнул он пальцем в свечку и полез за деньгами.

– Заупокойную будем читать? – ласково спросила женщина в черном за прилавком, если только стол, с которого продают ритуальные принадлежности, в церкви разрешено называть прилавком. – Только подождать придется, – она кивнула на скорбящую толпу.

– Нет-нет, я сам, – испуганно замахал Валентин и, расплатившись, сгреб свечи.

– Куда это... ставить? – остановился он, направившись было к иконе в ближайшем углу. – Мне бы за здоровье.

Когда цыганка ткнула его свечой в ладонь, Валентин ничего не почувствовал. Никакой боли. Что он – ребенок, что ли? Людей в средние века на кострах жгли, и ничего, терпели. Еще умудрялись умные речи толкать, да погромче, чтобы всем зевакам слышно было. Вот бы с нынешними горлопанами так – долго бы они митинговали?

Нет, Валентин даже не ойкнул. И не ударил – как можно? – наглую цыганку. Ударить женщину он не мог, не имел права: ударить ее означало обратить на себя внимание.

Проклятая незаметность! Ничем не заменимая незаметность! Так и спалиться недолго, думал Валентин. Да нет, не от свечи, конечно же! Но кто скажет, не воткнул ли ему в следующий раз шило в задницу? Те же цыганки, мать их! И будет ли Рубец – а ведь он узнает, как пить дать, – потом разбираться, кто ткнул, чем ткнул, найдут ли, что вряд ли, то самое шило? Одно можно сказать точно – рисковать Рубец не рискнет, а значит – прощай, Валентин, прощай, визжащий на весь рынок, хватающийся за задницу воришка!

Глядя на вонзившуюся в его ладонь свечу, Касапу не издал ни звука, даже рта не раскрыл. Поэтому выступившие на его глазах слезы выглядели не вполне естественно: так подозрительно выглядит заплаканное, но совершенно не расстроенное лицо человека, если не знать, что он только что нашинковал гору лука. Нет, правда, свечой о ладонь – совсем не больно, но пусть кто-нибудь осудит человека, потерявшего последнюю надежду.

А ее-то, не больше и не меньше, Валентин и потерял. Гребаный рынок! Не то что родственной, ни одной живой души не встретишь! Озлобленные и жадные, завистливые и бездушные твари! И, главное, цыганкам-то он чем не угодил?

После Игорька Касапу зарекся закладывать провинившихся реализаторов. И кто его за язык дернул? Валентину и в кошмаре не могло привидеться, что эти безмозглые гориллы, числящиеся сотрудниками службы безопасности рынка, чуть не угрожают парня. Да и не желал он ничего такого Игорьку, бог с ним, у него вся жизнь впереди. Вернее, должна была быть впереди. А пока, в обозримом, как говорится, будущем, у Игорька впереди больницы, операции и куча дорогуших лекарств, а еще – больная безработная мать, у которой нет денег на больницы, операции и лекарства для сына. Для ее единственного, между прочим, ребенка.

– Он у матери единственный сын, между прочим, – укоризненно покосился на Валентина охранник Мишка, калечивший Игорька в числе прочих ублюдков.

Валентин втянул голову в плечи, чувствуя, что может не вынести ноши, к которой, помимо бед несчастного Игорька, добавились моральные страдания охранников. А в том, что служба безопасности страдала, Валентин после слов Мишки не сомневался.

Катись оно ко всем чертям! Торговцы, деньги, цыганки, съемная квартира в центре, охранники эти долбанные! Провалиться этому рынку вместе с директором, мысленно слал проклятия Валентин, лежа на промокшей от слез подушке – один, в пустой, окутанной вечерним сумраком квартире.

Лишь бы не видеть их всех. Не слышать. Не говорить с ними, хотя это последнее пожелание давно исполнилось.

На следующее утро исполнилось и первое.

Проснувшись, Валентин по привычке протер глаза, но увидел не то, что ожидал. Этим не тем была сплошная пелена – белая, как если бы на глаза повязали салфетку, и Валентин даже усомнился – а жив ли он? Вспомнились рассказы очевидцев – их в последнее время часто передавали по телевизору, – переживших клиническую смерть. Люди рассказывали о длинном коридоре с белым светом в конце. Свет бил им в глаза, слепил, поэтому стены коридора никто толком описать не мог. Отчего же они решили, что это был коридор, недоумевал каждый раз Валентин.

«Что смерть всего лишь клиническая – это, конечно, хорошо, но вот кто меня будет вытаскивать?» – запаниковал Касапу, представив, как над забинтованной головой Игорька склоняется врач, проводящий утренний осмотр.

Пошарив рукой, Валентин узнал по очертаниям родной диван и решил присесть. Пощупав лицо и убедившись, что на глазах посторонних предметов действительно нет и что глаза открыты, он снова лег и начал вспоминать.

Однажды в передаче «Здоровье» рассказывали, что инфаркт не случается внезапно, хотя большинство инфарктников уверены в обратном.

«Вспомните, – ласково уговаривала ведущая участников передачи, – наверняка бывало, что вам не хватало воздуха или отнималась левая рука. Это и был своего рода желтый предупреждающий сигнал, включенный светодиффузором вашего организма, и если бы вы...»

Черт, что же там было? Словно пыльные страницы семейного альбома, перебирал Валентин события прошлого, надеясь отыскать хоть что-то похожее на симптомы расстройства зрения и – надо же! – ничего не мог обнаружить. Да он и об очках-то никогда не думал, и это в свои семьдесят пять! Он вообще не мог вспомнить, болел ли когда-нибудь серьезно. Разве

что кашель в тюрьме – даже туберкулез ставили, так ведь для зэков это вроде близорукости для библиотекарей: и болезнью не считается. А так – разве что в детстве и, кажется, грыжа (он попытался нащупать шов, но ничего не нашел – должно быть, зарос).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.